

Томас Манн

ДОКТОР ФАУСТУС

ЖИЗНЬ НЕМЕЦКОГО КОМПОЗИТОРА
АДРИАНА ЛЕВЕРКЮНА,
РАССКАЗАННАЯ ЕГО ДРУГОМ



Р о м а н



Санкт-Петербург

УДК 821.112.2
ББК 84(4Гем)-44
М 23

Thomas Mann
DOKTOR FAUSTUS

Перевод с немецкого
Соломона Апта, Наталии Ман

Серийное оформление Вадима Пожидаева

Оформление обложки Вадима Пожидаева-мл.

Манн Т.

М 23 Доктор Фаустус : Жизнь немецкого композитора Адриана Леверкюна, рассказанная его другом : роман / Томас Манн ; пер. с нем. С. Апта, Н. Ман. — СПб. : Азбука, Издательство АЗБУКА, 2026. — 640 с. — (Иностранная литература. Большие книги).

ISBN 978-5-389-32154-0

«Доктор Фаустус» — роман выдающегося немецкого писателя Томаса Манна, лауреата Нобелевской премии по литературе. В этой книге вечный сюжет о гении, продавшем душу дьяволу, перенесен в первую половину XX века. Композитор Адриан Леверкюн, гениальный безумец, видит себя вторым Фаустом, избранным и проклятым, и выстраивает собственную жизнь так, чтобы она напоминала старую легенду. В попытках обрести славу и бессмертие Леверкюн повторяет судьбу своей страны: роман, начатый во время Второй мировой войны и завершённый вскоре после ее окончания, стал притчей об исторической судьбе Германии в XX веке. Манн признавался, что Леверкюн — человек, «несущий в себе всю боль эпохи», был его любимым персонажем, а эту книгу писатель называл «самой сокровенной исповедью».

УДК 821.112.2
ББК 84(4Гем)-44

© С. Апт (наследник), перевод, 2026
© Н. Ман (наследник), перевод, 2026
© Издание на русском языке, оформление.
ООО «Издательство АЗБУКА», 2026
Издательство Азбука®

ISBN 978-5-389-32154-0

Lo giorno se n'andava, e l'aere bruno
toglieva gli animai che sono in terra
da le fatiche loro, ed io sol uno
m'apparecchiava a sostener la guerra
si del cammino e si della pietate,
che ritrarrà la mente che non erra.
O Muse, o alto ingegno, or m'aiutate,
o mente che scrivesti ciò ch'io vidi,
qui si parrà la tua nobilitate.

День уходил, и неба воздух темный
Земные твари уводил ко сну
От их трудов; лишь я один, бездомный,
Приготовлялся выдержать войну
И с тягостным путем и с состраданием,
Которую неложно вспомяну.
О Музы, к вам я обращусь с воззваньем!
О благородный разум, гений свой
Запечатлей моим повествованьем!

*Данте. Ад. Песнь вторая
(Перевод М. Лозинского)*

I

Со всей решительностью спешу заявить, что если этому рассказу о жизни Адриана Леверкюна, этой первой и, так сказать, предварительной биографии дорогого мне человека и гениального музыканта, с которым столь беспощадно обошлась судьба, высоко его вознесшая и затем низринувшая в бездну, я и предпосылаю несколько слов о себе и своих житейских обстоятельствах, то отнюдь не с целью возвеличить свою особу. Единственным моим побуждением была мысль, что читатель, вернее, будущий читатель, ибо в настоящее время нечего и думать о том, чтобы моя рукопись увидела свет, если только чудом она не окажется за стенами осажденной «крепости Европы» и там хоть отчасти приоткроет темную тайну нашего одиночества... Но лучше начну сначала: только в предположении, что читатель захочет узнать, кто же это пишет об Адриане Леверкюне, я предпосылаю его биографии несколько слов о самом себе — не без боязни, конечно, вселить в читателя сомнение, в надежные ли руки он попал. Иными словами, посильна ли человеку моего склада эта задача — задача, на выполнение которой меня подвигло скорее сердце, нежели право духовного сродства?

Перечитав эти строки, я уловил в них какую-то затрудненность дыхания, беспокойствие, столь характерное для душевного состояния, в котором я нахожусь ныне, 23 мая анно 1943, через два года после смерти Леверкюна (вернее, через два года после того, как из темной ночи он перешел в ночь беспросветную), собираясь приступить здесь, в маленьком своем кабинете в городе Фрайзинге на Изаре, к жизнеописанию моего с миром почившего — о, если бы с миром! — несчастного друга. Да, нелегко у меня на душе, ибо настойчивая тяга к общительности

печальнейшим образом парализуется страхом сказать нечто нескромное, не подлежащее огласке.

Я человек уравновешенный, по натуре здоровый, так сказать, не склонный к эксцессам, словом, приверженный гармонии и разуму. По роду занятий я ученый, *conjuratus*¹ «латинского воинства», не вовсе чуждый искусству (играю на *viola d'amore*). Но отношения мои с музами носят скорее академический характер, и сам я рассматриваю себя как преемника немецких гуманистов эпохи «Писем темных людей», Райхлина, Крота из Дорнхайма, Муциана и Эобана Гесса. Демонического начала, хотя я отнюдь не собираюсь отрицать его влияния на человеческую жизнь, я всегда чурался, инстинктивно его избегал, не чувствуя ни малейшей склонности отважно спускаться к силам тьмы или самонадеянно вызывать их из бездны, а если волею судеб они порой искушали меня, я им и пальца не протягивал. Этому своему убеждению я приносил немало жертв, идеальных и меркантильно-житейских; так, я без малейших колебаний до срока отказался от любезной моему сердцу педагогической деятельности, как только понял, что она не идет в ногу с запросами и духом нашего исторического развития. В этом смысле я собой доволен. Но такая решительность, или, если угодно, ограниченность моей нравственной сущности, тем более заставляет меня сомневаться: по плечу ли мне тот урок, который я себе задал?

Не успел я взяться за перо, как с него уже сбежало слово, втайне смутившее меня, слово «гениальность». Я говорил о музыкальном гении моего покойного друга. Впрочем, слово «гений», хотя и сверхмерное, все же обладает благородным, гармоническим и здраво-человеческим звучанием, и поскольку я, обыкновенный человек, и в мыслях не имею считать себя причастным к этим высшим сферам или исполненным *divinis influxibus ex alto*², то у меня, собственно, нет разумного повода страшиться этого слова, как нет причины страшиться благоговейно, радостно и почтительно говорить о гениальности. По-

¹ Присягнувший на верность (*лат.*).

² Божественным вдохновением (*лат.*).

хоже что так. И тем не менее нельзя отрицать, да это никогда и не отрицалось, что в сияющей сфере гения тревожно сопри-
сутствует демоническое начало, противное разуму, что существует
ужасающая связь между гением и темным царством и, наконец, что
именно поэтому эпитеты, которые я старался к нему приложить: «благородный», «гармонический», — не совсем подходящие эпитеты, даже когда — с болью решаюсь я на такое
разграничение — речь идет о чистой, неподдельной гениальности,
которой Господь Бог благословил (или покарал?) человека, а не о гениальности
гибельной и порочной, о грешном, патологическом сжигании природных способностей,
о мерзостном выполнении богопротивной сделки...

Тут меня останавливает неприятное чувство, что я допустил артистическую промашку. Сам Адриан уж конечно бы не потерпел, чтобы, ну, скажем, в симфонии так преждевременно зазвучала эта тема. У него она проступила бы разве что потаенно, почти неощутимо, словно издалека. Впрочем, возможно: то, что сорвалось у меня с языка, воспримется читателем как нечто туманное, как сомнительный намек, и только я один в этом усматриваю непростительную нескромность, грубое недержание речи. Человеку моего склада кажется трудным, даже недостойным подойти к предмету, который ему дороже жизни, который переполняет всю его душу, с рассудочно-игривой расчетливостью komponующего художника. Потому-то я раньше времени и заговорил о различии между просветленным и непросветленным гением — различии, которое я отметил лишь затем, чтобы тут же в нем усомниться. И правда, пережитое заставило меня так напряженно, так неотступно размышлять над этой проблемой, что временами, к ужасу моему, мне начинало казаться, будто меня самого выносит за пределы предуказанной мне ограниченной сферы и что я недозволенным образом превышаю уровень своих природных способностей...

Но обрываю и этот ход мысли, так как вспомнил, что заговорил-то я о гении и о его бесспорной причастности демоническому началу лишь затем, чтобы объяснить, почему я сомневаюсь, обладаю ли я необходимыми данными для разрешения предстоящей мне задачи. Рассеять мои сомнения может только

один успокоительный довод. Мне было суждено долгие годы прожить в доверительной близости с гениальным человеком, с героем этих моих записей, знать его с детства, быть свидетелем его становления, его судьбы и в скромной роли помощника даже участвовать в его творчестве. Либретто для задорной юношеской оперы Левекюна по комедии Шекспира «Бесплодные усилия любви» написано мною, да и текст к гротескной оперной сюите «Gesta Romanorum»¹ и к оратории «Откровение св. Иоанна Богослова» составлен с моей помощью и отчасти по моему почину. Вдобавок я обладатель бесценных записей, которые покойный мне, а не кому другому завещал еще в добром здравии или, вернее, в юридически неоспоримом, относительно добром здравии; на эти записи я и буду опираться в своем повествовании и даже вставлять в него обдуманно выбранные из них отрывки. Но первейшим и решающим моим оправданием, если не перед людьми, так перед Богом, было и осталось то, что я любил его — с ужасом и нежностью, с состраданием и беззаветным восторгом, при этом нимало не заботясь о том, отвечает ли он хоть сколько-нибудь на мою любовь.

О нет, он не отвечал на нее. Если он и завещал мне наброски своих композиций и дневники, то это свидетельствовало лишь о его трезво-дружелюбном ко мне отношении, я почти готов сказать: о милостивой и для меня несомненно почетной вере в мою добропорядочность, преданность и корректность. Но любить? Кого же любил этот человек? В свое время женщину, пожалуй. В конце жизни — ребенка. И еще, быть может, обаятельного вертопраха, которого он, не потому ли, что к нему привязался, прогнал от себя. И прогнал в смерть. Кому он открыл свое сердце, кому дал доступ в свою жизнь? Этого с ним не случилось. Беззаветную преданность Адриан принимал — я в этом убежден, — подчас вовсе ее не замечая. Его безразличие было так велико, что он едва отдавал себе отчет в том, что происходит вокруг, в какой компании он находится и так далее. Лишь в самых редких случаях он называл своего собеседника по имени, и это заставляет думать, что он просто не знал его имени,

¹ «Деяния римлян» (лат.).

ДОКТОР ФАУСТУС

хотя собеседник имел все основания предполагать противное. Одиночество Адриана я бы сравнил с пропастью, в которой беззвучно и бесследно гибли чувства, пробужденные им в людских сердцах. Вокруг него царила *стужа*, и как тяжело стало мне, когда, написав это слово, я вспомнил, что он сам однажды употребил его, и в какой страшной связи! Жизнь и постижение ее наделяют отдельные вокабулы оттенком, вовсе чуждым их будничному смыслу, грозным нимбом, невидимым тому, кто хоть однажды с ними не столкнулся в их самом страшном значении.

II

Я зовусь Серенус Цейтблом, доктор философии. Мне самому странно столь запоздалое представление, но ход моего рассказа мне не позволил сделать это раньше. Возраст мой — шестьдесят лет, ибо я родился в 1883 году (первым из четырех детей у моих отца и матери) в Кайзерсасерне на Заале, в округе Мерзебург; там провел свои школьные годы и Леверкюн, посему я воздержусь от описания нашего городка до той страницы, когда начну о них рассказывать. Поскольку мой жизненный путь неоднократно переплетался с жизненным путем великого композитора, то о том и о другом, пожалуй, лучше рассказывать слитно, дабы не забегать вперед, а в эту ошибку легко впадает каждый, у кого много накопилось на сердце.

Здесь замечу только, что я родился в семье, принадлежавшей к весьма скромному кругу бюргерства, так сказать, к полунинтеллигенции. Отец мой, Вольгемут Цейтблом, был аптекарь, считавшийся лучшим в городе. В Кайзерсасерне имелось еще одно фармацевтическое заведение, но оно не пользовалось таким уважением и доверием горожан, как цейтбломовская аптека «Благие посланцы», и с трудом выдерживало конкуренцию. Наша семья принадлежала к маленькой католической общине Кайзерсасерна, моя мать была набожною прихожанкой, усердно выполнявшей религиозные обряды, тогда как отец, вероятно за недосугом, относился к ним спустя рукава, хотя всегда и во всем поддерживал своих единомышленников, полагая, что такая солидарность имеет политическое значение. Примечательно, что у нас в гостиную, помещавшуюся над лабораторией и аптекой, частенько сиживал не только наш духовник, церков-

ный советник Цвиллинг, но и городской раввин, доктор Карлбаха — гость, навряд ли мыслимый в протестантских домах. Внешне представитель Римской церкви был куда более привлекателен. Но у меня осталось впечатление, вероятно основанное на словах отца, что низкорослый и длинноротый талмудист, никогда не снимавший ермолки, ученостью и острою религиозной мысли значительно превосходил своего коллегу-иноверца. Может быть, эти юношеские воспоминания да еще острая восприимчивость еврейских кругов к творчеству Леверкюна и побудили меня не согласиться с позицией, занятой нашим фюрером и его паладинами в отношении евреев, что, собственно, и заставило меня отказаться от педагогической деятельности. Конечно, мне приходилось сталкиваться и с совсем другими представителями этого племени — взять, к примеру, хотя бы культурфилософа Брейзахера из Мюнхена, о крайне неприятных чертах которого я не премину сказать в свое время.

Что касается моей принадлежности к Римской церкви, то таковая, конечно, сформировала и до известной степени определила мое сознание, хотя колорит католической культуры никогда не вступал в противоречие с моим гуманистическим мировоззрением, с моей любовью к прекрасному, как говорили в старину, к прекрасному в искусстве и в жизни. Оба этих элемента отлично во мне уживались, что, впрочем, неудивительно, ибо я вырос в стенах старинного города, исторические традиции и архитектурный облик которого сложились во времена церковного единства. Правда, Кайзерсасерн расположен в исконном краю лютеранства, в самой его сердцевине, среди таких городов, как Айслебен, Виттенберг, Кведлинбург, Гримма, Вольфенбюттель и Айзенах, что, в свою очередь, проливает свет на внутреннюю жизнь лютеранина Леверкюна и отчасти объясняет его поступление на богословский факультет. Реформацию можно сравнить с мостом, перекинутым из схоластических времен в наш век свободного мышления, но также из нашего времени в глубь Средневековья, пожалуй, в еще большую глубь сравнительно с не затронутой расколом христианско-ка-

толической традицией светлой любви к просвещению. Во всяком случае, я чувствую себя как дома в той золотой сфере, где Пресвятую Богородицу зовут «Jovis alma parens»¹.

Чтобы еще немного дополнить необходимейшие сведения о моей *vita*², замечу только, что родители дали мне возможность посещать гимназию, ту самую, где двумя классами младше учился и Адриан. Она была основана во второй половине пятнадцатого века и до самого последнего времени именовалась «Школой братьев убогой жизни». Отказаться от этого наименования ее заставил только стыд перед его чрезмерной историчностью и, для современного уха, несколько смешным звучанием; теперь она по имени соседней церкви зовется гимназией Святого Бонифация. Окончив ее в начале нынешнего столетия, я без малейшего колебания отдался изучению древних языков, к которым чувствовал влечение еще на школьной скамье и которыми последовательно занимался в Гисенском, Йенском и Лейпцигском университетах, а с 1904 года по 1905 год, не случайно, еще и в Галле, где тогда учился Адриан Леверкюн.

Здесь я не могу отказать себе в удовольствии обронить хотя бы мимоходом несколько слов о внутренней, почти таинственной связи классико-филологических интересов с любовью к красоте и разуму человеческому — связи, заявляющей о себе уже в том, что ученых-античников называют гуманистами, но, главное, в том, что внутреннее родство языковой культуры и гуманитарных знаний венчается идеей воспитания; призвание педагога как-то само собой вытекает из приверженности к классической филологии. Человек, занимающийся естественно-историческими реалиями, может, конечно, быть учителем, но никогда не станет воспитателем в том смысле и в той степени, как любитель изящной словесности. Да и язык звуков (если позволительно так именовать музыку), быть может более проникновенный, но странно нечленораздельный, не кажется мне относящимся к педагогически-гуманной сфере, хотя мне, конечно, известно, что музыка играла подсобную роль в воспитании эллинов

¹ Мать-кормилица Юпитера (*лат.*).

² Жизни (*лат.*).

и в общественной жизни древнегреческих городов. Несмотря на всю логически-нравственную суровость, которой ей угодно прикрываться, музыка, как мне представляется, все же причастна миру духов, и я не поручусь за полную ее благонадежность в делах человеческого разума и человеческого достоинства. А то, что я, вопреки сказанному, всем сердцем ей предан, — одно из благих или пагубных противоречий, неотъемлемых от природы человека.

Опять я позволил себе отступление. Впрочем, пожалуй что и нет: ведь вопрос, можно ли провести четкую грань между наставнически-благородным миром духа и этим миром духов, имеет прямое — увы! — даже слишком прямое отношение к этим моим записям. Да и существует ли вообще такая область человеческого, пусть наисветлейшая, достойнейшая, которая была бы вовсе недоступна влиянию темных сил, более того, которая не нуждалась бы в оплодотворяющем соприкосновении с ними? Мысль эта, не вовсе чуждая и человеку, по своему душевному складу отнюдь не тяготеющему к демонизму, стала приходить мне на ум еще во время моего полугодового путешествия по Италии и Греции, которое мне дали возможность совершить мои добрые родители, едва только я сдал государственный экзамен. Глядя с высоты Акрополя на Священную дорогу, по которой проходили участники мистерий с шафрановой повязкой на лбу и с именем Вакха¹ на устах, и позднее, когда я стоял на месте посвящения в таинства близ Эвбулея на краю Плутонова ущелья, под нависающими скалами, я смутно проникся чувством, которое мы зовем полнотою жизни, — чувством, побудившим олимпийское эллинство преклоняться перед богами земных глубин. Впоследствии я не раз говорил с кафедры своим ученикам из выпускного класса, что истинная культура — это религиозно-гармонизирующее, я бы даже сказал, примиряющее приобщение темных сил к культу богов-олимпийцев.

По возвращении двадцатипятилетний путешественник получил должность в гимназии своего родного города — иными

¹ Одно из имен Диониса. — *Примеч. ред.*

словами, в той самой школе, которая дала ему первые зачатки знаний. Я преподавал там в младших классах латынь, греческий, а также историю, но уже в 1914 году поступил на баварскую службу и обосновался во Фрайзинге, ставшем с тех пор моим постоянным местом жительства, в качестве учителя гимназии и доцента богословской академии, чтобы в продолжение двух десятилетий с удовлетворением трудиться на поприще истории и филологии.

Несмотря на свой юный возраст, едва определившись на должность в Кайзерсашерне, я женился. Любовь к порядку и желание честно, по-хорошему начать самостоятельную жизнь подвигли меня на этот шаг. Елена, урожденная Ойльгафен, моя дорогая жена, которая и сейчас обо мне печется, была дочерью моего старшего коллеги, по должности и по факультету, из Цвиккау в Саксонском королевстве, и, не боясь вызвать усмешку читателя, я признаюсь, что имя милой свеженькой девушки — Елена, это любезное мне звукосочетание, сыграло не последнюю роль в моем выборе. Елена! Трудно устоять перед освященной преданием прелестью этого имени, даже если внешность той, что зовется Еленой, лишь по-бюргерски скромно отвечает его высоким запросам — да и то лишь на краткий срок, покуда не поблекло ее юное цветение. Нашу дочь, давно уже вышедшую замуж за отличного человека, прокуриста в Регенсбургском филиале Баварского кредитного банка, мы тоже назвали Еленой. Кроме нее, моя дорогая жена подарила мне еще двух сыновей, так что я, как то и подобает смертному, познал радости и горести отцовства, впрочем не слишком бурные. Должен признаться, что в моих детях не было ничего из ряда вон выходящего. Ни в какое сравнение с чудно-красивым мальчиком Непомуком Шнейдевейном, племянником Адриана и утехой его последних лет, они, конечно, идти не могли, я первый готов это утверждать. В настоящее время оба моих сына — один на гражданском поприще, другой в вооруженных силах империи — служат своему фюреру, и так как мое критическое отношение к власти имущим моего отчества создало вокруг меня своего рода пустоту, то и связь обоих молодых людей с отчим домом заметно ослабела.

III

Леверкюны были родом искусных ремесленников и зажиточных земледельцев, процветавшим в Шмалькальденском округе да еще в Саксонской провинции на берегах Заале. Прямые предки Адриана на протяжении многих поколений владели фольварком Бюхель в приходе Обервайлер, неподалеку от железнодорожной станции Вайсенфельз — всего в сорока пяти минутах езды от Кайзерсашерна, — от которой дальше приходилось добираться уже на лошадях. Хозяева такого фольварка, как Бюхель, с его пятьюдесятью моргенами пахотной земли, лугами, лесными угодьями и поместительным деревянным домом на каменном фундаменте, по справедливости считались богатеями. Вместе с овинами и скотным двором усадьба образовывала четырехугольник, в середине которого — никогда мне ее не забыть! — росла могучая старая липа, в июне месяце вся покрывавшаяся пахучими цветами и, как кольцом, окруженная зеленой скамейкою. Прекрасное это дерево мешало движению подвод во дворе, и я слышал, будто каждый старший сын в молодые годы упрашивал отца срубить его для устранения этого неудобства, но лишь затем, чтобы позднее, в качестве хозяина, его же защищать от злокозненных умыслов наследника.

Как часто, должно быть, играл и потом засыпал в тени старой липы маленький Адриан, второй сын Ионатана и Эльсбеты Леверкюн, родившийся в 1885 году в одной из верхних комнат бюхельского дома, в пору, когда только-только зацвели деревья. Брат Георг, теперь, без сомнения, хозяин хутора, был на пять лет старше его. Сестра, Урсель, появилась на свет через такой же промежуток времени после Адриана.

В Кайзерсашерне у Леверкюнов был обширный круг друзей и знакомых, к которому принадлежали и мои родители; более того, между нашими семьями издавна существовали наисердечнейшие отношения, и в теплое время года мы все нередко проводили воскресные дни на фольварке, где фрау Леверкюн закармливала нас, горожан, чудесной деревенской снедью: на славу пропеченным хлебом с необыкновенно вкусным маслом, золотистым сотовым медом, душистой клубникой со сливками, кислым молоком из синих кувшинов, посыпанным сахаром и черными сухарными крошками. Когда Адриан, или Адри, как его называли домашние, был еще совсем маленьким мальчиком, хозяином фольварка считался его дед, хотя всем уже давно заправляло младшее поколение и участие старика в хозяйстве сводилось лишь к тому, что он — впрочем, всегда почтительно выслушиваемый, — шамкая беззубым ртом, пускался за ужином в пространные деловые рассуждения. Образы Адриана деда и бабки, скончавшихся почти одновременно, стерлись в моей памяти. Зато тем яснее стоят перед моими глазами образы Ионатана и Эльсбеты Леверкюн. Речь здесь идет, конечно, не о застывших образах: за мои школьные и студенческие годы они под неустанным, хотя как будто и незаметным воздействием времени из молодых и сильных превратились в пожилых и утомленных людей.

Ионатан Леверкюн был немец в лучшем смысле слова, тип, который ныне едва ли встретишь в наших городах и уж подавно не встретишь среди тех, что во всем мире с таким удручающим буйством представляют наш народ. Черты его, прочно сохраненные сельской жизнью, казалось, были вычеканены в далеком прошлом и в наши дни перешли из времен, предшествовавших Тридцатилетней войне. Так думалось мне, когда я, подрастая, смотрел на него глазами, понемногу научившимися видеть. Пепельные, всегда спутанные, не по моде длинные волосы Ионатана Леверкюна ниспадали на затылок и на выпуклый лоб с протупающими жилками на висках возле маленьких, красивой формы ушей, переходили в кудрявую окладистую бороду, белокурые завитки которой плотно покрывали скулы, подбородок

и углубление под нижней губой. Эта губа сильно и как-то округло выпячивалась из-под свисающих усов, и на ней играла улыбка, приятно сочетаясь с чуть робким и каким-то углубленным взглядом голубых глаз. Линия носа у него была тонкая и красиво изогнутая; на щеках, скорее худощавых, там, где их не скрывала борода, голубели небольшие впадины. Жилистую его шею редко стеснял воротничок — Ионатан не любил общепринятой городской одежды, да она и не шла к нему, особенно к его рукам, к сильной, загорелой, сухой и немного веснушчатой руке, которою он сжимал набалдашник трости, когда мирские дела вынуждали его отправляться в деревню.

По дымке усталости, подергивавшей его взгляд, по нежной прозрачности висков опытный врач сразу бы установил, что Ионатан Леверкюн подвержен мигреням. Так это и было на самом деле. Впрочем, мигрень случалась с ним редко, не чаще одного раза в месяц, разве что на несколько часов, да и то не нарушая обычного распорядка его трудового дня. Он любил курить трубку, недлинную фарфоровую трубку с крышечкой, и ее своеобразный, крепкий запах — куда более приятный, чем застоявшийся дым сигар или папирос, — насквозь пропитывал воздух в нижних комнатах леверкюновского дома, и также любил на ночь выпить кружку мерзебургского пива. В зимние вечера, когда все его достояние покоилось под снежной пеленою, он частенько читал преимущественно огромную, доставшуюся ему от отца Библию в тисненой свиной коже и с кожаными застежками, отпечатанную с герцогского соизволения в 1700 году в Брауншвейге и содержащую не только глубоко-мысленные введения и примечания на полях доктора Мартина Лютера, но еще и всевозможные назидательные выводы, *locos parallelos*¹ и стихотворные толкования каждой главы Писания, принадлежащие перу господина Давида фон Швейница. По преданию, в достоверности которого никто из Леверкюнов не сомневался, эта фамильная Библия некогда принадлежала той самой брауншвейг-вольфенбюттельской принцессе, что вышла замуж за сына Петра Великого. Согласно этому же преданию,

¹ Параллельные места (*лат.*).

она сумела искусно инсценировать свою смерть и бежала из России на остров Мартиника, где сочеталась браком с каким-то французом чуть ли не в час своих «похорон». Адриан, до страсти любивший все смешное, в зрелые годы вместе со мною потешался над этой историей, которую отец рассказывал, подняв глаза от книги и глядя в пространство своим мягким глубоким взглядом, после чего, нимало не смущенный довольно-таки скандальной судьбой их семейной реликвии, вновь углублялся в стихотворные комментарии господина фон Швейница или «Мудрые Соломоновы назидания правителям».

Ионатан читал не только духовные книги, но и другого рода сочинения, несомненно свидетельствовавшие о его склонности «размышлять о стихиях»: я имею в виду его занятия — в весьма умеренных, конечно, масштабах и с привлечением самых скромных пособий — естествознанием, биологией, а также физикой и опытной химией, для чего моему отцу случалось ссужать его необходимейшими материалами из своей лаборатории. К несколько устарелому и сомнительному определению его занятий я прибег потому, что в них был какой-то мистический привкус, нечто, в былые времена считавшееся чуть ли не колдовством. Здесь я должен заметить, что недоверие религиозно-спиритуалистической эпохи к растущей страсти проникнуть в тайны природы мне было всегда понятно. Благочестие видело в этом панибратское заигрывание со сферой подзапретного, не говоря уже о том, что Божье творение (природа и жизнь) становилось таким образом чем-то морально подозрительным. Сама природа так избыточно полна порождений, готовых вот-вот переплеснуться в колдовство, двусмысленных причуд, завуалированных, неопределенных намеков, что исследование ее не может не представляться смиренному благочестию явным нарушением того, что подобает человеку.

Когда отец Адриана по вечерам раскрывал книги с цветными иллюстрациями, рассказывающие об экзотических мотыльках и морских животных, мы, то есть оба его сына, я, а иногда и фрау Леверкюн, заглядывали в них через спинку его вольтеровского кресла, следя, как он водит указательным пальцем по изображениям этих диковин: сияющих всеми красками палит-

ры, темными и ярчайшими, выточенных с изысканнейшим вкусом славного ювелира и разукрашенных прелестным узором тропических бабочек и насекомых, что в своей фантастически преувеличенной красоте проживают эфемерно краткую жизнь. Иные из них слывут у туземцев злыми духами, приносящими малярию. Их дивная окраска, сказочно прекрасная лазурь, которую они сияют, поучал нас Ионатан, вовсе не настоящий цвет, ибо он возникает благодаря мельчайшим буграм и желобкам, испещряющим чешуйчатый покров их крылышек, — сложнейшей призматической микроструктуре, искусно преломляющей световые лучи и большую их часть поглощающей, в результате чего наш глаз воспринимает одну лишь светозарную голубизну.

— Смотри-ка, — я как сейчас слышу эти слова фрау Леверкюн, — выходит, это все обман?

— А небесную синеву ты тоже назовешь обманом? — возразил муж, взглянув в ее сторону. — Ведь и о ней никто не знает, из каких красок она составлена.

Право же, когда я это пишу, мне начинает казаться, что я все еще стою с фрау Эльсбетой, Георгом и Адрианом за креслом отца и слежу за движением его указательного пальца. На картинке изображены стеклокрылые бабочки; их крылышки, все лишённые чешуек, кажутся нежно-стеклянными, чуть подернутыми сетью темных прожилок. Такая бабочка, в прозрачной своей наготе выющаяся под сумеречными кронами деревьев, зовется *Нетаера esmeralda*. На крылышках у нее только один красочный блик — лилово-розовый, и этот блик, единственно видимое на невидимом созданище, в полете делает ее похожей на подхваченный ветром лепесток. Была там еще и листовидная бабочка; ее крылышки сверху блещут полнозвучной триадой красок, с нижней же стороны дьявольски точно воспроизводят древесный лист, не только формой и прожилками, но еще и скрупулезным повторением мелких шероховатостей, даже будто бы капельками росы или бородавками грибка. В ветвях дерева это лукавое существо, стоит лишь ему высоко поднять крылышки, так полно сливается с листвою, что его не отыскать и самому алчному врагу.

Ионатан небезуспешно пытался передать нам свою растроганность такой утонченной мимикрией, повторяющей все — вплоть до мельчайшей ущербленности. «Ну как этого достигла бессловесная тварь? — спрашивал он. — Как через нее достигла этого природа? Ведь невозможно предположить, что неразумное создание расчетливо и обдуманно усвоило столь хитрый прием. Но природа, та точно знает свой листок, знает не только все его совершенство, но и все его изъяны и будничные недостатки; вот ей и вздумалось с лукавым дружелюбием повторить его совсем в другой сфере — на нижней стороне крыльев мотылька, чтобы оставить в дураках другие свои создания. Но почему именно этому существу даровано коварное преимущество? Если ему на пользу в неподвижном состоянии быть точь-в-точь древесным листком, то какая же в этом польза для голодных его преследователей — ящериц, птиц и пауков, которым он предназначен в пищу? Они глаза себе проглядят, а его все равно не обнаружат. Я спрашиваю вас, чтобы вы не успели спросить меня».

Пусть эта бабочка для самозащиты становится невидимой, но достаточно перевернуть несколько страниц в книге Ионатана Леверкюна, и мы уже знакомимся с другими, которые достигают той же самой цели броской, более того — навязчивой видимостью. Это бабочки не только очень крупные, но и избыточно роскошно окрашенные да еще покрытые богатейшим узором. Они, как пояснял папаша Леверкюн, с хвастливой медлительностью летают в своем вызывающем наряде; но эту медлительность никак не назовешь дерзкой, — скорее есть в ней что-то унылое, ибо ни одно живое существо, ни обезьяна, ни птица, ни ящерица, даже не взглянет им вслед. Почему бы так? Да потому, что они мразь. И об этом они оповещают яркой своей красотой и медлительностью полета. Сок такой бабочки до того зловонен, до того отвратителен на вкус, что если какая-нибудь тварь по ошибке или в надежде полакомиться схватит ее, то тут же со злобным отвращением выплюнет свою добычу. Мерзость их в природе общеизвестна, и они, не таясь и не прячась, существуют в безопасности — в печальной безопасности. Во

ТОМАС МАНН
ДОКТОР ФАУСТУС
Жизнь немецкого композитора
Адриана Леверкюна,
рассказанная его другом

Ответственный редактор Валерия Андоскина
Художественный редактор Вадим Пожидаев-мл.
Технический редактор Мария Антипова
Компьютерная верстка Ирины Варламовой
Корректоры Полина Малышева, Светлана Федорова

Подписано в печать / Баспага қол қойылды 13.03.2026.
Формат издания 60 × 88 ¹/₁₆. Печать офсетная. Тираж 4000 экз.
Усл. печ. л. 39,2. Заказ №

| | |
|--|--|
| Изготовитель: | Өндіруші: |
| ООО «Издательство АЗБУКА» — обладатель товарного знака АЗБУКА®, 115093, Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Даниловский, пер. Партийный, д. 1, к. 25 Тел. (495) 933-76-01, факс (495) 933-76-19 E-mail: sales@atticus-group.ru | «АЗБУКА Баспасы» ЖШҚ — АЗБУКА® тауар белгісінің иесі, 115093, Мәскеу, қ. іш. аум. Даниловский муниципалдық округі, Партийный т.ш., 1-үй, к. 25 Тел. (495) 933-76-01, факс (495) 933-76-19 E-mail: sales@atticus-group.ru |
| Филиал ООО «Издательство АЗБУКА» в г. Санкт-Петербурге, 191024, Санкт-Петербург, Херсонская ул., д. 12–14, лит. А Тел. (812) 327-04-55 E-mail: trade@azbooka.spb.ru www.azbooka.ru | Санкт-Петербург қ., «АЗБУКА Баспасы» ЖШҚ филиалы, 191024, Санкт-Петербург, Херсон көшесі, 12–14 үй, лит. А Тел. (812) 327-04-55 E-mail: trade@azbooka.spb.ru www.azbooka.ru |
| Отпечатано в России. | Ресейде басып шығарылған. |

Техникалық реттеу туралы РФ заңнамасына сай басылымның сәйкестігін
растау туралы мәліметтерді мына адрес бойынша алуға болады:
<https://certification.atticus-group.ru/>

Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.)
Ақпараттық өнім белгісі
(29.12.2010 ж. № 436-ФЗ федералдық заң)



Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами
в ООО «ИПК Парето-Принт».
170546, Тверская область, Промышленная зона Боровлево-1, комплекс № 3А.
www.pareto-print.ru

